



Сленица по
ДОВОРОЙ ВОЛЕ

Екатерина Мордвинцева

Екатерина Мордвинцева

Пленница по доброй воле

<https://litres.ru/74211487>

Аннотация

Его называли зверем. Он потерял всё, что любил, и построил стены вокруг своего сердца. Когда в его дом привели испуганную девушку с долгом отца, он не планировал ничего, кроме защиты. Но её смелость, её талант, её способность видеть человека даже в монстре разрушили все его барьеры.

Содержание

Пролог	4
Глава 1	22
Глава 2	40
Глава 3	58
Глава 4	77
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Пролог

Я всегда считала, что самое страшное — это крик. Истерика матери, когда она узнала диагноз. Хрип отца, когда ему сообщили, что лечения больше не существует. Грохот крышки гроба, закрывающей лицо человека, который был твоей вселенной.

Нет. Крик — это жизнь. Крик — это надежда, что тебя услышат.

Самое страшное — это тишина.

Такая, как сейчас.

Такая, от которой закладывает уши и начинает звенеть в голове мерзким, навязчивым звуком, будто кто-то включил камертон, настраивая инструмент перед тем, как сыграть похоронный марш.

Я сижу в кресле.

Огромном. Черном. Кожаном.

Оно слишком большое для меня. Мои ноги не достают до пола, хотя я не маленькая — метр семьдесят два. Просто кресло создано для великанов. Для тех, кто привык восседать на троне и смотреть на всех сверху вниз. Мои ладони замерли на подлокотниках, пальцы вцепились в край так сильно, что побелели суставы. Я смотрю на них и почему-то думаю, что они похожи на скелет. Кожа да кости. Ни крови, ни жизни.

Часы на стене тикают.

Я слышу каждое тик-так. Это пытка. Каждый удар маятника — секунда, которая отдаляется меня от того человека, которой я была еще вчера. Или позавчера? Я уже потеряла счет времени. Похороны были... когда? Я не помню. Кажется, прошла вечность. Или всего два дня.

Отец.

Мысль о нем обжигает горло, но слез нет. Я выплакала их все. Три дня подряд. А потом организм сказал «стоп». Закрыв кран. Оставил меня сухой, выжженной пустыней, где ничего не растет, не цветет, не живет.

Папа.

Я смотрю на свои руки и вижу его пальцы. Такие же длинные, тонкие, с чуть выпирающими костяшками. Он любил говорить, что у нас «аристократические руки», хотя никакой аристократии в нашей семье не было и в помине. Он был врачом. Хирургом. Эти руки держали скальпель, спасали жизни, а потом... потом они начали трястись. Сначала чуть-чуть. Потом сильнее. А потом уже было не важно, трясутся они или нет, потому что держать скальпель стало нечем — рак съел мышцы, нервы, все.

Я закрываю глаза.

В темноте перед глазами всплывает его лицо. Последние месяцы он выглядел как тень себя прежнего. Но глаза... глаза оставались теми же. Светлыми, добрыми, чуть насмешливыми. Он всегда умел шутить даже в самые страшные мо-

менты. Даже когда боль становилась невыносимой и морфий переставал помогать, он находил в себе силы криво улыбнуться и сказать: «Аська, ну что ты расклеилась? Я еще сто лет проживу. Только дай мне этот дурацкий пульт, я “Сватов” посмотрю».

Он не досмотрел «Сватов».

Он не досмотрел, как я защитила диплом.

Он не увидит мои картины, если у меня когда-нибудь будет выставка.

Он не проведет меня под венец.

В горле встает ком. Я давлю его. Сглатываю. Открываю глаза и возвращаюсь в реальность.

Кабинет.

Я рассматриваю его, потому что смотреть больше не на что. Или потому что боюсь смотреть на мужчину, который сидит напротив. Пока что я вижу только его руки. Они лежат на столе — спокойно, расслабленно, уверенно. Широкие ладони, длинные пальцы, чистые ногти. Никаких перстней, кроме тонкого ободка на мизинце — серебро или платина, я не разбираю. Это руки человека, который привык держать оружие. Или деньги. Или судьбы.

Мебель в кабинете дорогая, но без пафоса. Темное дерево, кожа, минимум декора. Никаких золотых львов или мраморных статуй. Строго. Мужски. Со вкусом того, кому не нужно ничего доказывать.

На стене — несколько картин. Я невольно вглядываюсь, и

профессиональная привычка берет верх над страхом. Масло. Хорошее. Две марины, один городской пейзаж. Не Айвазовский, но уровень достойный. Интересно, он сам выбирал или доверился декоратору? Вряд ли у такого человека есть время на художественные галереи.

Часы продолжают тикать.

Я перевожу взгляд на окно. За тяжелыми шторами угадывается день — серый, питерский, с низким небом и мелким дождем, который барабанит по стеклу. Окна огромные, от пола до потолка. В другом месте и при других обстоятельствах отсюда, наверное, открывался бы красивый вид. Но сейчас мне кажется, что эти окна — глаза гигантского зверя, которые смотрят прямо на меня.

Дверь.

Я смотрю на дверь, в которую вошла пятнадцать минут назад. Она массивная, дубовая, с бронзовой ручкой. За ней коридор, потом лестница, потом вестибюль, потом улица. Свобода.

Мысль о побеге возникает сама собой, но я тут же ее гашу. Куда? И зачем? Люди, которые привели меня сюда, найдут. Они всегда находят. Это их работа. Их жизнь.

Я вспоминаю вчерашний вечер, и по спине пробегает холод.

Похороны были в понедельник. Дождь лил как из ведра, словно сама природа решила оплакать человека, которого у меня больше нет. Я стояла у свежей могилы в черном платье, которое купила за месяц до этого, когда врачи сказали, что времени осталось — «месяц, может быть, два». Платье висело в шкафу, и каждый раз, когда я открывала дверцу, чтобы взять джинсы или свитер, оно смотрело на меня черным безмолвным упреком.

На похоронах было мало людей. У отца не осталось близких друзей — болезнь отсекла всех, кто не хотел видеть его угасание. Пришли коллеги из больницы, две медсестры из хосписа, соседка снизу, тетя Галя, которая приносила нам супы, когда отец уже не мог есть твердую пищу. И несколько мужчин в черных костюмах, которых я не знала.

Я тогда не придавала этому значения. Думала, может, старые знакомые. Отец был хирургом, спасал многих — кто-то пришел отдать дань уважения.

Только сейчас, задним числом, я понимаю, что они пришли не прощаться.

Они пришли оценивать активы.

После похорон я вернулась в пустую квартиру. Двухкомнатная хрущевка на окраине, где мы жили с отцом двадцать три года. Мама умерла, когда мне было пять, так что я почти не помню ее. Только запах — ваниль и почему-то бензин. И голос, который напевал что-то по вечерам.

Ходила по комнатам, трогала вещи, вдыхала запах отца —

табак, антисептик, что-то еще неуловимое, что я называла «пахнет домом». Я открыла холодильник и увидела йогурт, который он попросил купить за два дня до смерти. «Аська, принеси этот, с черникой, он вроде нормальный на вкус». Он так и не попробовал йогурт.

Я села на кухне, уставилась в стену и просидела так, наверное, час. Или два. Или до темноты.

А потом в дверь позвонили.

Я не хотела открывать. Я вообще ничего не хотела. Я хотела лечь на пол, свернуться калачиком и никогда больше не вставать. Но звонок повторился. Три коротких, два длинных. Настойчиво.

Я посмотрела в глазок.

В коридоре стояли двое. Оба в черном, оба с лицами, которые не предвещали ничего хорошего. Первый — низкий, плотный, с бычьей шеей и маленькими злыми глазами. Второй — худой, высокий, с лицом, которое я описала бы одним словом: «скользкий».

— Открой, Ася, не бойся, — сказал бычий. Голос у него был спокойный, даже вкрадчивый, но от этого спокойствия мурашки побежали по коже. — Поговорить надо.

— Кто вы? — спросила я, не открывая.

— Друзья твоего отца. Открой, не дергайся. Мы не кусаемся.

Я открыла. Глупо, наверное. Но я была в таком состоянии, когда уже все равно. Абсолютно все равно. Если бы они при-

шли меня убивать, я бы, возможно, даже обрадовалась.

Они вошли в квартиру, огляделись с брезгливым любопытством, как смотрят на выставленный на продажу хлам. Бычий прошел на кухню, сел на табурет, который жалобно скрипнул под его весом. Скользящий остался стоять у двери, сложив руки на груди.

— Садись, — сказал бычий, кивнув на стул напротив.

Я села.

— Ты, наверное, не в курсе, Ася, но твой папаша нам должен был. Крупно должен.

Я смотрела на него и не понимала. О чем он? Отец — врач. У него была зарплата, иногда подработки в частных клиниках. Мы жили скромно, но без долгов. По крайней мере, я так думала.

— Твой отец играл, — сказал бычий, словно прочитав мои мысли. — И не в дурацкие лотереи, а по-крупному. Казино, покер, подпольные турниры. И, скажем так, фортуна была к нему не слишком благосклонна.

Я покачала головой.

— Вы ошибаетесь. Мой отец... он не...

— Он взял у нас в долг три миллиона, — перебил меня бычий. Голос его стал жестче, потерял вкрадчивость. — Три. Миллиона. Рублей. Два года назад. На операцию, говорил. Но операция ему не помогла, да? А бабки наши — они никуда не делись.

Я открыла рот. Закрыла. Открыла снова.

Три миллиона.

Я работала в детской художественной школе, получала тридцать тысяч. Иногда брала заказы на портреты, но это копейки. Три миллиона для меня были суммой из какого-то другого измерения.

— Я... я ничего не знала, — выдавила я. — Папа мне не говорил...

— А зачем ему было говорить? — Бычий усмехнулся, обнажив желтоватые зубы. — Дочка у него — художница, девочка нежная. Ей такие дела ни к чему. Он, видите ли, заботился о твоей репутации.

В его голосе было столько яда, что мне стало тошно.

— Я не могу... у меня нет таких денег, — сказала я. Голос дрожал, и я ненавидела себя за эту дрожь. — У нас квартира... она стоит наверное... миллиона полтора, если повезет. Но там доли, я не знаю, как оформить...

— Квартира уже наша, — лениво бросил бычий. — Как и все, что здесь есть. Твой отец подписал залог. За квартиру, за машину, за дачу. Все, что было, Ася. Остался ты, голая и босая, с долгом в полтора миллиона.

— Но... если квартира ваша, я могу съехать, снять что-то... я буду работать, выплачу...

— Смешная ты, — сказал бычий. И тут же его лицо изменилось. Улыбка исчезла, глаза стали холодными, как зимняя вода. — Слушай сюда, художница. Нам не нужны твои копейки. Нам не нужна твоя халупа. Нам нужны деньги. И

сроки поджигают. У нас есть инвесторы, которые ждут свои проценты. Твой папаша нас подставил, и теперь ты будешь отвечать.

Я сжалась на стуле, чувствуя, как стены начинают давить.
— Что вы хотите?

Бычий посмотрел на скользкого. Тот едва заметно кивнул.
— Есть вариант, — сказал бычий, понижая голос. — У нас есть человек. Серьезный человек. Ему нужна жена. Фиктивная. На год. Ты молодая, красивая, образованная. Он берет на себя все твои долги, а ты играешь роль любящей супруги. Через год расходитесь, каждый при своих.

Я смотрела на него, не веря своим ушам.

— Вы предлагаете мне... выйти замуж? — Голос прозвучал хрипло, словно я не пила несколько дней. Хотя, возможно, так и было.

— Я предлагаю тебе закрыть вопрос, — жестко сказал бычий. — Или, если не нравится, есть второй вариант. Ты идешь работать на панель, пока не отработает полтора миллиона. По нашим тарифам это года три, может, четыре, если клиентура пойдет. Ты девка видная, спрос будет.

Я почувствовала, как кровь отливает от лица.

— Вы не можете...

— Можем, Ася. — Бычий подался вперед, и я почувствовала запах дешевого табака и чеснока. — Твой отец подписал бумаги. Долг переходит к наследникам. Если не веришь — спроси у юриста. А лучше не спрашивай, потому что я

и так все сказал. У тебя двадцать четыре часа на раздумья. Завтра в это же время я приду за ответом.

Они ушли так же внезапно, как и появились.

Я осталась сидеть на кухне, глядя на пустой стол. Йогурт с черникой все еще стоял на полке холодильника. Я открыла дверцу, достала его, посмотрела на крышечку. Срок годности — завтра.

Я съела йогурт.

Он был безвкусным.

Двадцать четыре часа.

Я не спала. Я сидела на подоконнике, смотрела в окно на двор-колодец и думала. Думала до рези в висках, до тошноты, до ощущения, что голова сейчас расколется на части.

Могла бы сбежать. Уехать в другой город, сменить документы, потеряться. Но куда? У меня нет денег, нет связей. И я не сомневалась, что эти люди найдут меня. Такие находят.

Я могла бы обратиться в полицию. Но что я скажу? «Злые дяди заставляют меня выйти замуж»? Мне бы посочувствовали, выписали талон и отправили восвояси. А потом бычий пришел бы снова, и разговор был бы другим.

Я могла бы... что? Покончить с собой? Мысль мелькнула и исчезла. Нет. Отец боролся за жизнь до последнего. Он смотрел на меня в свои последние дни с такой надеждой, с

такой верой, что я справлюсь, что я буду жить дальше, что я не сломаюсь. Я не имела права его подвести.

Оставался третий вариант.

Замуж.

Фиктивно. На год.

Я пыталась представить этого человека. «Наш человек», сказал бычий. Серьезный человек. Ему нужна жена. Что это значит? Старый? Молодой? Уродливый? Жестокий? Будет ли он меня бить? Изнасилует ли, несмотря на «фиктивность»? Или ему действительно нужна просто картинка — красивая девушка на руку, чтобы закрыть рты партнерам и вопросы от властей?

Я не знала.

И это незнание было хуже всего.

К утру я приняла решение. Я позвоню этим людям и скажу «да». Потому что другой вариант — улица, темнота, чужие руки, бесконечная чередка мужчин, которые будут покупать мое тело, потому что им так захотелось.

Лучше один.

Пусть даже чужой, страшный, опасный.

Лучше один год в клетке, чем вечность в аду.

В восемь утра я набрала номер, который оставил бычий. Трубку взяли после первого же гудка.

— Я согласна, — сказала я в пустоту.

— Умная девочка, — ответил бычий. — Сегодня в семь вечера по адресу... Жди, за тобой приедут.

Сейчас я сижу в этом кресле, и до семи вечера оставалось... сколько? Я смотрю на часы над дверью. Без пятнадцати семь.

Пятнадцать минут.

Мои пальцы все еще дрожат. Я пытаюсь их успокоить, сжимаю в кулаки, потом разжимаю. Бесполезно. Это дрожь не от холода — от страха. От того, что я поняла только сейчас, когда дверь за мной закрылась и я осталась наедине с тишиной.

Я думала, что знаю, что такое страх.

Я боялась, когда мама умирала, и я не понимала, почему она не просыпается. Я боялась, когда отцу поставили диагноз. Я боялась, когда он не отвечал на звонки, и я мчалась через весь город, думая, что сегодня — тот самый день. Я боялась, когда держала его за руку, и рука становилась холоднее с каждой минутой.

Но это был не страх.

Это было горе. Отчаяние. Боль.

Страх — это когда ты жива. Когда твое сердце бьется, когда легкие дышат, когда мозг работает, и ты отдаешь себе отчет в каждой секунде происходящего.

Страх — это когда дверь открывается, и ты понимаешь, что с этой секунды ты перестаешь принадлежать себе.

Я смотрю на дверь. Она закрыта. Я не знаю, что за ней. Не знаю, кто войдет. Я знаю только одно: после того, как это произойдет, я больше не буду Асей — художницей, дочерью, девушкой, у которой есть мечты и планы. Я стану функцией. Женой. Игрушкой. Товаром.

Дверь открывается.

Делаю вдох. Глубокий, как перед прыжком в воду.

Он входит.

Я не поднимаю глаз. Я смотрю на его руки. Они лежат на столе — спокойные, уверенные. Длинные пальцы. Чистые ногти. На мизинце — тонкое кольцо. Он молчит.

Чувствую его взгляд. Он тяжелый, физически ощутимый. Он давит на макушку, на плечи, на грудь. Мне хочется съежиться, стать маленькой, незаметной, раствориться в этом огромном кресле.

Я не поднимаю глаз.

Я смотрю на столешницу. Темное дерево, отполированное до блеска. Ни царапины. Идеальный порядок. Ничего лишнего. Только папка — тонкая, черная — лежит с краю.

Он открывает папку. Я слышу шелест бумаги.

— Ася Сергеевна, — говорит он.

Голос низкий. Спокойный. Никаких эмоций. Как у врача, который сообщает диагноз. Или у судьи, который зачитывает приговор.

Я не отвечаю. Я не могу. Горло сковано спазмом.

— Вы понимаете, зачем вы здесь? — спрашивает он.

Я киваю. Один раз. Резко.

— Вам объяснили условия?

Снова киваю.

— Хорошо.

Пауза. Я слышу, как он перелистывает бумаги.

— Я не буду причинять вам боль, — говорит он. — Если вы будете соблюдать условия контракта.

Я поднимаю глаза.

Вижу только его руки. Они берут со стола что-то маленькое, черное. Кольцо. Простое, без камней, без рисунка. Похоже на ошейник. На клеймо.

Он кладет кольцо передо мной. Оно стучается о дерево тихо, но мне кажется, что этот звук разносится по всему кабинету, по всему дому, по всему миру.

— Это ваш экземпляр контракта, — говорит он, указывая на папку. — Прочтите. Если согласны — подпишите и наденьте кольцо.

Я смотрю на кольцо. Оно лежит на столе, маленькое, безобидное. Просто кусочек металла. Но я знаю: стоит мне его надеть, и обратной дороги не будет.

Я протягиваю руку к папке. Пальцы все еще дрожат, когда я открываю ее.

Буквы плывут перед глазами. Я читаю, но не понимаю. Юридические термины, пункты, подпункты. «Фиктивный брак», «срок действия — один календарный год», «обязанности супруги», «конфиденциальность», «материальная

компенсация».

Не читаю — я скольжу глазами по строчкам, выхватывая отдельные слова. Долг. Погашен. Проживание. Сопровождение. Беспрекословное выполнение.

Беспрекословное выполнение.

Я закрываю папку.

— У меня нет выбора, — говорю я. И это не вопрос. Это констатация факта.

Он молчит. Но в этой тишине я чувствую что-то. Не сочувствие — нет. Понимание? Принятие? Я не знаю.

Беру ручку. Черную, тяжелую, явно дорогую. Она удобно ложится в руку, но я чувствую ее вес — вес решения, которое я принимаю.

Я подписываю.

Буквы получаются кривыми, дрожащими, совсем не похожими на мой обычный почерк. Но это не важно. Важен факт. Отныне я — не я.

Откладываю ручку.

Смотрю на кольцо.

Оно ждет.

Я беру его. Металл холодный, гладкий. Я верчу его в пальцах, рассматриваю. Ничего особенного. Обычное кольцо. Такое могло бы лежать в любой ювелирной лавке, стоять копейки.

Но цена этого кольца — моя свобода.

Надеваю его на безымянный палец левой руки.

Оно скользит легко. Идеальный размер. Как будто создано для меня.

Как будто это всегда было предназначено.

Я смотрю на свою руку. Черное кольцо на бледной коже выглядит чужеродно. Как пятно. Как метка.

— Добро пожаловать в семью, Ася Сергеевна, — говорит он.

Я поднимаю глаза.

Я наконец смотрю на него.

Но в прологе, как мы и договаривались, мы не видим его лица. Только тень, падающую от торшера. Только контур широких плеч. Только руки, которые теперь сложены на груди.

Я не вижу его глаз.

Но я чувствую их на себе.

И в этой темноте, в этой тишине, в этом огромном кабинете, который пахнет кожей и дорогим табаком, я понимаю одну вещь.

Я только что продала душу.

И самое страшное — я сделала это добровольно.

В коридоре за дверью раздаются шаги. Кто-то идет, осторожно ступая по паркету. Может быть, охрана. Может быть, прислуга. Я не знаю. Я ничего не знаю об этом доме, об этом человеке, о своей новой жизни.

— Вас проводят в вашу комнату, — говорит он. — Отдыхайте. Завтра будет трудный день.

Я встаю. Ноги не слушаются, колени дрожат. Я делаю шаг, второй. К дверям.

Я почти у выхода, когда он говорит:

— Ася.

Я замираю.

— Вы не пожалеете, — говорит он. — Я обещаю.

Я не оборачиваюсь.

Потому что если я обернусь — я увижу его лицо. И тогда... тогда все станет реальным.

А я пока не готова к реальности.

Я хочу еще немного побыть в этом странном, зыбком состоянии между «до» и «после». Между свободой и клеткой. Между Асей — и той, кем мне предстоит стать.

Я открываю дверь.

Выхожу.

За мной закрывается тяжелая дубовая дверь, и я слышу, как щелкает замок.

Или мне только кажется.

Я стою в пустом коридоре, смотрю на свои руки и вижу черное кольцо.

Оно не снимается.

Я пробую — оно сидит плотно, словно приросло к коже. Или я просто недостаточно сильно тяну. Или не хочу.

Я не знаю.

Я ничего не знаю.

Кроме одного.

Страх — это не крик. Не боль. Не темнота.

Страх — это когда ты надеваешь кольцо на палец и понимаешь, что с этой секунды ты перестаешь принадлежать себе.

А самое страшное — ты начинаешь привыкать к этому весу на руке.

Глава 1

Дождь идет уже третий день.

Такое ощущение, что небо решило разорваться на части и вылить на землю всю воду, какая только есть. Серые тяжелые тучи висят низко, касаясь крыш, касаясь макушек деревьев, касаясь моей головы, когда я выхожу из подъезда. Ветер гнет ветки старого клена, который рос здесь еще до того, как построили этот дом. Клен стонет, скрипит, но держится. Я завидую этому клену. У него есть корни. У него есть земля. У меня ничего нет.

Черное платье трепыхается на ветру, облепляет ноги, мешает идти. Я купила его месяц назад, когда врач сказала: «Готовьтесь, Сергей Иванович, времени осталось не больше двух недель». Я тогда вышла из больницы, зашла в первый попавшийся магазин, взяла с вешалки первое попавшееся черное платье. Даже не померила. Оно оказалось великовато — я похудела за этот месяц, словно болезнь отца передалась мне, выедала меня изнутри, превращала в тень.

Тень в черном платье идет на похороны собственного отца.

Я не плачу.

Это странно. Я всегда была плаксой. В детстве — по любому поводу. Сломалась игрушка — рев. Упала с велосипеда — в голос. Мама умерла — я плакала тогда так, что сосе-

ди стучали по батареям и просили успокоиться. Я плакала, когда отцу поставили диагноз. Я плакала, когда его первый раз повезли на химиотерапию. Я плакала, когда он потерял волосы. Я плакала, когда он перестал вставать с постели.

Сейчас глаза сухие.

Как выжженная земля. Как пустыня. Как тот самый клен, который уже, наверное, высох внутри от старости, но все еще держится.

Я иду к остановке. Троллейбус везет меня через весь город, я смотрю в мокрое окно и вижу свое отражение — бледное, с провалившимися глазами, с черными кругами под ними. Я похожа на покойницу. Может быть, я и есть покойница, только еще не знаю об этом.

Отец хотел, чтобы его кремировали. «Не хочу лежать в сырой земле, Аська, — сказал он за два дня до смерти, когда голос уже был еле слышен. — Преврати меня в прах и развей где-нибудь в красивом месте. Над морем, например. Или в горах». Я обещала. Я всегда ему обещала. Но когда он умер, пришли какие-то люди из морга, и кто-то из соседей сказал: «Хоронить надо по-человечески, крест на могилу поставить», и я сломалась. Я не смогла. Я не смогла сделать так, как он хотел. Я испугалась, что если развею прах, то у меня не останется места, куда можно прийти. Не останется точки на карте, где он все еще существует.

Поэтому я выбрала землю.

Сырую, холодную, промерзшую октябрьскую землю, ко-

торая будет давить на гроб, на его грудь, на его руки, которые когда-то держали скальпель, а потом не могли удержать даже ложку.

Я предала его последнюю волю.

И за это я, наверное, горю в аду, который ношу внутри себя.

Кладбище встречает меня запахом сырости, увядших листьев и цветов. Кто-то уже принес венки — я заказывала их вчера по телефону, когда еще не понимала, что делаю. Красные гвоздики, белые хризантемы, зелень. Слишком ярко для такого дня. Слишком нарядно.

Гроб уже стоит у края могилы. Открытый. Я вижу лицо отца, и ноги подкашиваются. Я хватаюсь за чью-то руку — оказывается, тети Гали, соседки снизу. Она смотрит на меня с жалостью, от которой хочется выть.

— Держись, дочка, — шепчет она. — Держись.

Я держусь. Я вцепляюсь в ее руку так, что, наверное, оставляю синяки, и держусь. Смотрю на отца. Он выглядит... спокойным. Болезнь ушла из его лица вместе с жизнью, оставив только морщины — глубокие, словно шрамы. Он выглядит старым. Я никогда не замечала, насколько он старый. А ведь ему было всего пятьдесят три.

Рак съедает не только тело. Он съедает время. Он крадет годы, которые могли бы быть. Он крадет будущее, которое я

так часто рисовала в голове: как папа гуляет с моими детьми, как учит их держать кисточку, как рассказывает им истории про свои операции. Ничего этого не будет. Все сгорело в химиотерапии, растворилось в морфии, исчезло вместе с последним вздохом.

Священник — я попросила батюшку из церкви на углу, хотя мы не были особенно верующими, но папа иногда заходил туда поставить свечку за маму — читает молитвы. Я не слышу слов. Только гул, только ветер, только стук собственного сердца, которое почему-то продолжает биться. Мерзкое, живучее сердце. Оно не понимает, что смысла в его бииении больше нет.

Люди подходят прощаться. Я вижу их лица, но не запоминаю. Коллеги отца — врачи в белых халатах, накинутых поверх черных курток. Медсестры из хосписа — они почему-то плачут больше всех, словно потеряли родного человека. Какие-то женщины, которых я никогда не видела — может быть, бывшие пациентки. Соседи. Дальние родственники, о существовании которых я даже не подозревала.

И несколько мужчин в черных костюмах.

Замечаю их сразу. Они стоят чуть поодаль, под старым дубом, не подходят к гробу, не крестятся, не говорят слов соболезнования. Они просто смотрят. Их лица — каменные маски, глаза — холодные щелки. Я думаю: наверное, старые друзья отца. Он ведь многих спас. Может быть, эти люди тоже обязаны ему жизнью.

Я ошибалась.

Я всегда ошибаюсь.

Гроб опускают в землю. Я бросаю горсть — комья сырой глины стучат по крышке глухо, страшно. Этот звук останется со мной навсегда. Я знаю это. Я буду слышать его в тишине, перед сном, в кошмарах. Гулкий, окончательный, бесповоротный.

Люди расходятся. Тетя Галя пытается увести меня, напоить чаем, сует мне таблетки валерьянки. Я вежливо отказываюсь. Я хочу побыть одна. Она вздыхает, качает головой, но уходит.

Я стою у свежей могилы, смотрю на горку цветов, на венки, на табличку с именем, которая пока временная, из пластика. Потом будет камень. Я уже выбрала — серый гранит, сдержанный, без лишних украшений. Папа не любил пафоса.

— Что же ты наделал, пап? — шепчу я в пустоту. — Зачем ты оставил меня одну?

Ветер не отвечает. Дождь не отвечает. Бог, в которого я хотела бы верить, не отвечает.

Я стою так, наверное, час. Может быть, два. Может быть, до темноты. Мои туфли промокли, платье насквозь мокрое, волосы слиплись в сосульки. Мне холодно, но я не чувствую холода. Мне страшно, но я не чувствую страха. Я вообще ни-

чего не чувствую. Только пустоту. Огромную, черную, бездонную.

Когда я наконец ухожу, на могиле остается синий пластиковый пакет с недоеденным бутербродом, который тетя Галя сунула мне в руку. Я забыла его выбросить. Пакет трепыхается на ветру, и мне кажется, что это папа машет мне рукой. Я не оборачиваюсь.

Дом встречает меня тишиной.

Не той тишиной, которая бывает, когда все живы, просто спят. А той — мертвой, звенящей, которая заполняет пустые комнаты, забирается в шкафы, прячется под кроватью. Тишиной, которая говорит: «Ты одна. Совсем одна».

Захожу в прихожую, скидываю мокрые туфли, вешаю платье сушиться в ванную. Надеваю папин старый халат — он висит на крючке за дверью, пахнет им, и я вдыхаю этот запах, как наркоман, который получил дозу. Табак. Антисептик. Что-то еще неуловимое, что я называю «пахнет домом».

Иду на кухню. Сажусь на табурет. Смотрю на стол.

Здесь все осталось как при нем. Кружка, из которой он пил чай в последний раз. Я помню, как мыла эту кружку, но потом поставила обратно, как будто он мог вернуться и допить. Лекарства в пластиковых контейнерах с отметками дней недели. ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС. ПН пустой. ВТ

пустой. СР пустой. Все пустые. Ему больше не нужны лекарства.

На холодильнике — записка его рукой. Крупные, неровные буквы — болезнь уже затронула мелкую моторику. «Аська, не забудь купить хлеб». Я купила хлеб. Он стоит в хлебнице, уже покрылся плесенью. Я не могу его выбросить.

Открываю холодильник. Йогурт с черникой, который он просил за два дня до смерти. Срок годности — сегодня. Я достаю его, смотрю на крышечку. «Фруктовый наполнитель, бифидобактерии, без ГМО». Он хотел этот йогурт. Он хотел его попробовать. Но к тому времени уже не мог глотать.

Я открываю йогурт. Он кислый, слишком сладкий. Я ем и чувствую, как слезы наконец подступают к глазам. Не из-за йогурта. Из-за всего. Из-за того, что я не успела. Из-за того, что он умер, так и не попробовав черничный йогурт. Из-за того, что я держу в руках кружку, которую он держал, и она все еще хранит тепло его пальцев.

Плачу. Наконец-то плачу. Рыдания вырываются из груди с такой силой, что мне кажется, сейчас ребра треснут. Я сгибаюсь пополам, утыкаюсь лицом в колени и выю. В голос. Как в детстве. Как тогда, когда умерла мама.

Я не слышу, как в дверь звонят.

Звонок врывается в мой вой, как нож в масло. Резко. Бес-

пощадно. Я поднимаю голову, вытираю лицо рукавом халата. Смотрю на часы на микроволновке. Восемь вечера. Кто может прийти в восемь вечера? Тетя Галя, наверное. Принесла суп. Или пирожки. Она всегда приносит суп или пирожки, когда случается горе.

Я иду к двери. Не смотрю в глазок. Открываю.

На пороге стоят трое.

Я их не знаю. Но узнаю сразу.

Они в черном. Дорогие костюмы, которые сидят идеально, как вторая кожа. Один — низкий, плотный, с бычьей шей и маленькими злыми глазами. Вторым — высокий, худой, с длинным лицом и глазами, которые смотрят сквозь тебя. И третий.

Третий выходит вперед.

Я смотрю на него и чувствую, как воздух в легких превращается в лед.

Он невысокий, но его присутствие заполняет весь коридор. Плечи — широкие, развернутые, как у борца. Темные волосы зачесаны назад, открывают высокий лоб и глубоко посаженные глаза. Цвета я не различаю — в тусклом свете подъезда они кажутся черными. Но это не черный цвет. Это отсутствие цвета. Пустота. Бездна.

Он улыбается. Улыбка не касается глаз.

— Ася? — Голос тихий, вкрадчивый. Он не спрашивает — он утверждает.

Я киваю. Горло пересохло.

— Меня зовут Хан, — говорит он. — Мы с твоим отцом вели дела. Не согласишься?

Это не вопрос. Это приказ. Я отступаю вглубь квартиры, и они входят. Все трое. Бычий и скользкий остаются в прихожей, а Хан проходит на кухню, садится на табурет — на тот самый, где только что сидела я.

Он оглядывается. На кружку отца. На контейнеры с лекарствами. На йогурт, который я доела и не успела выбросить. Его лицо не выражает ничего. Ни презрения, ни жалости. Только холодное, профессиональное любопытство.

— Садись, — говорит он, кивнув на стул напротив.

Я сажусь. Руки дрожат, и я прячу их под стол, чтобы он не видел.

— Соболезную, — говорит Хан. Голос его при этом остается ровным, как у робота. — Твой отец был... интересным человеком.

Молчу.

— Ты знаешь, чем он занимался? — спрашивает Хан, наклоняя голову.

— Он был хирургом, — говорю я. Голос хриплый, чужой.

— Да, — кивает Хан. — Хирургом. И игроком. Профессиональным. Хроническим. Безнадежным.

Я чувствую, как кровь отливает от лица.

— Он играл? — переспрашиваю я, хотя слышала прекрасно.

— Казино. Покер. Подпольные турниры. В последнее вре-

мя — ставки на спорт. — Хан говорит это так спокойно, будто перечисляет содержимое холодильника. — Твой отец, Ася, был болен не только раком. У него была еще одна болезнь. Азарт. И эта болезнь убила его быстрее, чем онкология.

Я качаю головой. Нет. Не может быть. Мой отец — Сергей Иванович Воронцов, заслуженный врач, спасший сотни жизней. Он не мог. Он просто не мог.

— Два года назад, — продолжает Хан, — твой отец взял в долг у одного человека. Сумма — три миллиона рублей. Он планировал отыгаться. У него была система, он был уверен в успехе. Но системы в игре не работают, Ася. Система работает только в бизнесе. В игре работает удача. А твоему отцу не везло.

Три миллиона. Цифра плывет перед глазами. Я пытаюсь осознать ее, но не могу. Три миллиона — это моя зарплата за восемь лет. Это квартира, которую мы с папой покупали двадцать лет назад, когда цены были в три раза ниже. Это космическая сумма из другой вселенной.

— Он взял эти деньги на операцию, — говорю я. Голос срывается. — Он говорил, что операция нужна. Что есть новый метод в Германии...

— Он тебе врал, — мягко говорит Хан. — Операция стоила восемьсот тысяч. Остальное он спустил за три дня. В подпольном казино на Васильевском острове.

Мир рушится. Не просто рушится — взрывается, разле-

тается на миллион осколков, каждый из которых впивается в меня, режет изнутри. Я держусь за край стола, чтобы не упасть.

— Он... он подписал документы, — продолжает Хан, вынимая из внутреннего кармана пиджака сложенный лист. — Залог имущества. Квартира, дача, машина. Все оформлено. Все по закону, можешь не сомневаться.

Он кладет лист на стол. Я смотрю на знакомую подпись — размашистую, с характерным росчерком. Папину подпись. Я знаю ее с детства — он расписывался в моем дневнике, в заявлении в школу, в рецептах. Это его почерк. Это его подпись.

Значит, это правда.

— Твой отец умер, — говорит Хан, и в его голосе впервые появляется что-то похожее на человеческое. — Но долг остался. По закону, Ася, долг переходит к наследникам. К тебе.

Я смотрю на него. В голове пустота. Ни мыслей, ни чувств. Только вакуум.

— У меня нет таких денег, — говорю я. Это единственное, что я могу сказать. Это правда. Это факт. Это приговор.

— Я знаю, — кивает Хан. — Поэтому я здесь.

Он смотрит на меня. Долго. Пристально. Я чувствую на себе его взгляд — он как скальпель, которым папа делал операции. Только этот скальпель не режет тело. Он режет душу.

— Твой отец должен был Дамиру, — говорит Хан. — Да-

мир — человек серьезный. Очень серьезный. Такие люди не прощают долгов. И не ждут.

Я молчу.

— У Дамира есть предложение, — продолжает Хан. — Он готов списать долг в обмен на услугу.

Я поднимаю глаза. Впервые за весь разговор я смотрю прямо на него.

— Какую услугу?

Хан улыбается. Та же улыбка, которая не касается глаз.

— Дамиру нужна жена. Фиктивная. На год. Ты подходишь по всем параметрам: молодая, красивая, образованная, без криминального прошлого. Ты выходишь за него замуж, играешь роль любящей супруги, сопровождаешь на мероприятиях, ведешь дом. Через год — развод. Долг списан. Ты свободна.

Я смотрю на него, не веря своим ушам.

— Вы предлагаете мне... продать себя?

— Я предлагаю тебе закрыть долг, — жестко поправляет Хан. — Цивилизованно. Без крови. Без насилия. Это бизнес, Ася. Чистый бизнес.

— А если я откажусь?

Хан вздыхает. Он смотрит на свои руки — крупные, с короткими пальцами, без колец. Потом переводит взгляд на меня.

— Если ты откажешься, Ася, квартира перейдет в собственность Дамира. Ты останешься на улице. Ни докумен-

тов, ни денег, ни крыши над головой. Долг останется — полтора миллиона, после вычета стоимости квартиры. И тебе придется его отрабатывать.

— Как?

— Разными способами, — говорит Хан. — Есть работа. Ночная. Не самая приятная, но прибыльная. Ты девушка видная, клиенты будут. Года три-четыре — и долг закроется.

Он говорит это так спокойно, будто предлагает устроиться официанткой или продавщицей. Будто речь идет не о том, чтобы продавать свое тело незнакомым мужчинам.

Я чувствую тошноту. Подкатывает к горлу, жжет кислотой. Я зажимаю рот рукой, чтобы не вырвать на стол.

— Вы чудовища, — шепчу я.

— Мы бизнесмены, — поправляет Хан. — Чудовища — это те, кто берет деньги в долг и не отдает. А мы — просто люди, которые помогают закрывать вопросы.

Он встает. Поправляет пиджак. Смотрит на меня сверху вниз.

— У тебя двадцать четыре часа, Ася. Завтра в это же время я приду за ответом. Если согласна — подпишешь контракт и поедешь к Дамиру. Если нет — мы начинаем процедуру изъятия имущества. И, поверь, это будет не самый приятный опыт в твоей жизни.

Он идет к выходу. Бычий и скользкий пропускают его, потом следуют за ним.

У порога Хан оборачивается.

— Твой отец был слабым человеком, Ася. Он не умел проигрывать. Не повторяй его ошибок.

Дверь закрывается.

Я сижу на кухне, смотрю на пустой стол, на кружку отца, на контейнеры с лекарствами.

И тишина убивает меня.

Не помню, как прошла ночь.

Я сидела на кухне до утра. Не спала. Не ела. Не пила. Я просто сидела и смотрела в одну точку. В голове крутились обрывки мыслей, как испорченная пластинка. Три миллиона. Долг. Дамир. Жена. Фиктивно. Год. Панель.

Панель.

Это слово врезалось в сознание, как пуля. Я вспоминала фильмы, которые видела краем глаза. Вспоминала женщин в коротких юбках на обочинах дорог. Вспоминала их лица — пустые, с потухшими глазами. Я не могла стать такой. Я не могла.

Но и замуж за бандита — за человека, который, судя по всему, управляет этой машиной насилия и денег — я тоже не могла.

Или могла?

Смотрела на свои руки. Руки художницы. Длинные пальцы, чистые ногти, мозоль от кисточки на среднем пальце.

Эти руки рисовали рассветы, портреты, натюрморты. Эти руки держали руку отца, когда он умирал. Эти руки не должны были трогать чужие, грязные, ненавидящие тела.

Но выбор был прост. Или год фиктивного брака с одним мужчиной, или годы настоящего рабства со многими.

В математике я всегда была сильна.

В восемь утра я набрала номер, который Хан оставил на листке с подписью отца.

— Я согласна, — сказала я в трубку. Голос не дрожал. Странно.

— Умная девочка, — ответил Хан. — Сегодня в семь вечера за тобой приедут. Будь готова.

Я положила трубку.

Встала. Подошла к окну. Посмотрела на клен, который все еще боролся с ветром. У него были корни. У меня их больше не было.

Я пошла в ванную. Включила воду. Сняла халат отца. Посмотрела на себя в зеркало. Бледная, худая, с красными глазами, с синяками под ними. Чужое лицо. Чужая жизнь.

Я забралась под душ. Вода была горячей, почти кипятком. Я стояла под струей, смотрела, как вода стекает по телу, унося с собой последние капли того, кем я была.

Ася. Дочь. Художница.

Все это оставалось в прошлом.

В будущем была только тьма.

Выключила воду. Вытерлась. Надела джинсы и свитер —

теплый, шерстяной, связанный мамой много лет назад. Он пах нафталином и почему-то ванилью. Мамин запах.

Я взяла рюкзак. Сложила туда зубную щетку, паспорт, диплом, пару смен белья. Больше мне ничего не принадлежало. Даже эта квартира — уже не моя.

Обошла комнаты. Простилась с каждой стеной, с каждым углом. С папиным кабинетом, где все еще пахло табаком. Со своей комнатой, где на мольберте остался недописанный портрет — лицо еще не проступило из краски, только набросок, только тени.

Я выключила свет. Закрыла дверь.

В подъезде было темно. Лампочка перегорела еще неделю назад, и никто не спешил ее менять. Я спускалась по ступенькам, держась за перила, и считала про себя. Раз, два, три, четыре, пять...

Тридцать три ступеньки. Я знала их наизусть. Сколько раз я пробегала по ним в детстве, сколько раз поднималась уставшая после учебы, сколько раз спускалась на свидания, с которых возвращалась разочарованная.

Последний раз.

Я вышла во двор. Дождь кончился. Небо было серым, низким, но где-то на западе пробивался луч солнца — тонкий, робкий, почти незаметный. Я смотрела на этот луч, и мне казалось, что он прощается со мной.

У подъезда стоял черный джип. Из него вышел бычий — тот самый, который был вчера с Ханом.

— Садись, — сказал он, открывая заднюю дверь.

Я села. Салон пах кожей и дорогим освежителем. Бычий сел на переднее сиденье, рядом с водителем — скользким. Джип тронулся.

Смотрела в окно на свой дом, на клен, который все еще боролся с ветром, на серое небо и робкий луч солнца.

Я не плакала.

Слез больше не было. Только пустота. Только тишина. Только черное кольцо, которое мне еще только предстояло надеть, но которое уже сжимало палец невидимой хваткой.

Я думала о папе. О том, как он держал меня на руках, когда мне было три года, и учил рисовать солнце — круг и лучики, круг и лучики. О том, как он гладил меня по голове, когда я плакала из-за мамы. О том, как он сказал перед смертью: «Аська, ты сильная. Ты справишься».

Я не сильная.

Но я справлюсь.

Потому что выбора нет.

Джип въезжает в ворота особняка, и я смотрю на дом, который станет моей тюрьмой на ближайший год. Он огромный, серый, с высокими окнами и коваными решетками. Он похож на крепость. На звериную клетку. На могилу.

Меня ведут внутрь. По коридорам, мимо охраны, мимо

прислуги, которая смотрит на меня с любопытством и жалостью. Поднимаемся по лестнице. Останавливаемся у массивной дубовой двери.

— Заходи, — говорит бычий. — Дамир ждет.

Я берусь за ручку. Металл холодный, скользкий. Я открываю дверь.

Кабинет. Темное дерево. Кожа. Тишина.

Я захожу. Дверь за мной закрывается.

Стою посреди огромной комнаты, смотрю на стол, на кресло, в котором сидит он — человек, которому я теперь принадлежу. Я не вижу его лица. Только тени. Только руки на столе. Спокойные. Уверенные.

Я сажусь в кресло напротив. Оно слишком большое. Мои ноги не достают до пола. Я чувствую себя ребенком. Маленькой девочкой, которую поставили перед выбором, к которому она не готова.

Часы на стене тикают.

Он молчит.

Я молчу.

И в этой тишине я понимаю: то, что было вчера — страх, отчаяние, боль — это был только пролог.

Настоящий страх начинается сейчас.

Глава 2

Он молчит.

И в этой тишине я успеваю рассмотреть его.

Я ожидала увидеть быка. Кого-то вроде тех, кто привез меня сюда — широкоплечего, с бычьей шеей, с лицом, изрезанным шрамами или, наоборот, заплывшим жиром. Я ожидала увидеть зверя — с маленькими злыми глазами, с тяжелой челюстью, с руками-лопатами, которые привыкли не подписывать контракты, а ломать кости.

Я ошиблась.

Он сидит в кресле — таком же черном, кожаном, как то, в котором утонула я, — но на нем оно не выглядит огромным. Он вписывается в него идеально, как будто кресло создавали специально под него. Или он создан для таких кресел.

Ему лет тридцать два — тридцать пять. Сложно сказать точно. У него лицо, которое не выдает возраста — оно просто есть. Правильные черты, чуть аскетичные. Высокий лоб, прямой нос, четко очерченные губы. Темные волосы аккуратно уложены, но без излишней прилизанной гладкости — наоборот, легкая небрежность говорит о том, что он не тратит время на прихорашивание. Или тратит, но умеет скрывать это.

Он одет в дорогой костюм. Я мало смыслю в мужской моде, но даже мне видно: ткань, посадка, воротник рубашки —

все это стоит больше, чем моя месячная зарплата. Темно-серый, почти черный, с едва заметной полоской. Белая рубашка. Никакого галстука — воротник расстегнут, и это единственная деталь, которая выдает в нем человека, а не манекен из глянцевого журнала.

Но главное — глаза.

Они усталые. Это первое, что я замечаю. Темные, глубоко посаженные, с тенями под ними, которые говорят о бессонных ночах. Такие глаза бывают у людей, которые слишком много работают. Или слишком много думают. Или слишком много видят такого, что лучше бы не видеть.

Но за усталостью прячется что-то еще. Цепкость. Настороженность. Он смотрит на меня, и я чувствую, что он видит больше, чем я хочу показывать. Он видит мой страх, мою злость, мою беспомощность. Он видит все, что я пытаюсь спрятать за маской равнодушия, которая, как мне казалось, держится довольно хорошо.

Он не кричит. Не угрожает. Не пытается запугать меня громким голосом или тяжелым взглядом.

Он спокоен.

Спокоен, как удав, который смотрит на кролика. Без спешки. Без агрессии. Со знанием, что кролик никуда не денется. У него есть время. У него есть власть. У него есть я.

Это спокойствие страшнее любых криков. Крики — это эмоции. Крики — это слабость. А этот человек не выглядит слабым. Он выглядит как тот, кто давно научился контроли-

ровать все — включая себя.

Я сжимаюсь в кресле, подтягиваю ноги, пытаюсь занять как можно меньше места. Мне хочется стать невидимкой. Раствориться в воздухе. Исчезнуть.

Я не исчезаю.

— Ася Сергеевна, — говорит он.

Голос низкий. Спокойный. Ровный. Без эмоций. Как у диктора, который читает новости. Или у прокурора, который зачитывает обвинительное заключение.

Я молчу. Горло сжато спазмом. Я боюсь, что если открою рот, то из него вырвется не слово, а всхлип. А я не хочу, чтобы он видел мои слезы. Не хочу давать ему эту власть.

— Хан объяснил вам условия? — спрашивает он. В его голосе нет угрозы. Только констатация факта.

Я киваю. Один раз. Резко.

— Хорошо. — Он открывает папку, которая лежит перед ним на столе. Достает несколько листов, плотно исписанных мелким шрифтом. — Тогда давайте пройдемся по деталям. Чтобы не было недопонимания.

Он поднимает на меня глаза, и я чувствую, как по спине пробегает холод. Не от страха — от осознания. Этот человек привык, чтобы его слушали. И слушались.

— Контракт заключается сроком на один календарный год, — начинает он, водя пальцем по строчкам. Палец у него длинный, с ухоженным ногтем. Рука хирурга. Или пианиста. — В течение этого срока вы, Ася Сергеевна, обязуетесь про-

живать по моему основному адресу — этот дом, если вы не заметили — выполнять функции супруги. Это включает в себя сопровождение меня на мероприятия, прием гостей, ведение домашнего хозяйства в той степени, в какой вы посчитаете нужным. У меня есть штат прислуги, вам не придется заниматься уборкой или готовкой, если не захотите.

Он делает паузу, смотрит на меня, проверяя, слушаю ли я. Я слушаю. Каждое слово врезается в память, как на гравировке.

— Вы будете пользоваться банковской картой для текущих расходов. Лимит обсудим позже. Ваша личная свобода передвижения ограничена — вы не можете покидать город без моего согласия. В остальном — вы свободны в пределах разумного.

Он переворачивает страницу.

— Через год контракт расторгается. Долг вашего отца считается погашенным. Вы получаете компенсацию — сумма указана в приложении номер три — и можете идти куда угодно.

Он снова поднимает на меня глаза. В них нет ничего. Ни насмешки, ни сочувствия. Просто факты.

— Теперь самое важное, — говорит он, и в голосе впервые появляется что-то похожее на сталь. — Никаких постельных обязательств.

Я вздрагиваю. Он замечает это — краем глаза вижу, как его бровь поднимается на долю миллиметра.

— Вы слышали правильно, — продолжает он. — Я не требую от вас интимной близости. Наш брак — фиктивный. Формальность. Бизнес-сделка. Если вы не захотите — ничего не произойдет.

Он делает паузу.

— Но, Ася, — его голос становится тише, но от этого не мягче, — я советую вам не путать бизнес с эмоциями. Не искать в этом смысл. Не пытаться найти тайный подтекст там, где его нет. Это сделка. Только сделка.

Я смотрю на него и не верю. Не верю ни единому слову. Мужчины, которые покупают женщин, не покупают их для ведения домашнего хозяйства. Мужчины, которые держат женщин в клетках, рано или поздно приходят за своим. Это закон. Я знаю это. Я читала об этом. Я слышала истории.

Но в его глазах — нет, я не вижу лжи. Я вижу усталость. И что-то еще. Что-то, что я не могу определить. Грусть? Одиночество?

Я отвожу взгляд.

— Вы прочитали контракт? — спрашивает он.

— Нет, — мой голос звучит хрипло, как после долгого молчания. — Я прочитаю.

Беру папку. Пальцы дрожат, бумага шуршит, и этот звук кажется мне оглушительным в тишине кабинета.

Я читаю.

Буквы плывут перед глазами. Юридические термины, пункты, подпункты, ссылки на статьи каких-то законов. Я не

юрист. Я художник. Я умею различать оттенки цветов, чувствовать композицию, видеть свет. Я не умею читать контракты.

Но я читаю. Строка за строкой. Слово за словом.

«Фиктивный брак... срок действия... обязанности сторон... материальная компенсация... конфиденциальность... неразглашение...»

Дохожу до пункта, который он озвучил. «Интимные отношения не являются обязательным условием настоящего контракта». Написано сухо, официально. Как инструкция к бытовой технике.

Я поднимаю глаза. Он смотрит на меня. Ждет.

— У меня нет выбора, — говорю я. Это не вопрос. Это не жалоба. Это констатация факта, которую я приняла еще прошлой ночью, сидя на кухне и глядя на пустую кружку отца.

— У вас всегда есть выбор, — отвечает он, и в его голосе я слышу что-то похожее на... усталость? Или мне кажется. — Вы можете отказаться. Хан объяснил альтернативы.

Вздрагиваю. Альтернативы. Панель. Годы. Чужие руки.

— Я согласна, — говорю я. И ненавижу себя за эти слова. За то, как легко они слетают с губ. За то, что я не борюсь. Не кричу. Не царапаюсь.

Я — тряпка. Слабая, жалкая тряпка, которая плывет по течению, потому что у нее нет сил грести против.

Он протягивает мне ручку. Черную, тяжелую, явно дорогую. Я беру ее. Она удобно ложится в руку, но я чувствую

ее вес — вес решения, которое я принимаю. Вес жизни, которую я отдаю.

Я подписываю.

Буквы получаются кривыми, дрожащими, совсем не похожими на мой обычный почерк. «Ася Сергеевна Воронцова». Я смотрю на свою подпись и понимаю, что только что продала себя. Добровольно. По своей воле. С ручкой в руке и контрактом на столе.

Я откладываю ручку.

Он забирает контракт, просматривает подпись, кивает.
— Теперь кольцо, — говорит он.

Он открывает ящик стола. Достает маленькую черную бархатную коробочку. Открывает.

Внутри — кольцо.

Черное. Тонкое. Без камней, без узоров. Просто гладкий ободок из металла, который тускло поблескивает в свете настольной лампы.

Я смотрю на него, и мне кажется, что я уже видела это кольцо. В фильмах про концлагеря. На фотографиях заключенных. Ошейник. Клеймо. Метка, которая говорит: «Это мое. Не трогать. Не кормить. Не выпускать».

Он берет кольцо. Встает. Подходит ко мне.

Чувствую его запах. Дорогой парфюм, табак, что-то еще — древесное, горьковатое. Он возвышается надо мной, загораивая свет. Я не вижу его лица — только тень.

— Дайте руку, — говорит он.

Протягиваю левую руку. Она дрожит. Пальцы холодные, как лед. Он берет мою руку в свои — его ладонь теплая, сухая, уверенная.

Он надевает кольцо на безымянный палец.

Оно скользит легко. Идеальный размер. Как будто создано для меня.

Как будто я всегда носила его.

Ошейник захлопывается.

Я слышу щелчок. Или мне только кажется. Металл касается кожи, и я чувствую его холод — он проникает в кровь, в кости, в самую душу.

Он держит мою руку в своей. Секунду. Две. Я чувствую тепло его пальцев, и мне хочется вырваться, убежать, закричать.

Я не двигаюсь.

— С сегодняшнего дня вы — моя жена, — говорит он. Голос спокойный, ровный. — Фиктивно. Формально. Не забывайте об этом.

Он отпускает мою руку. Возвращается за стол. Садится в кресло, и между нами снова возникает барьер из темного дерева.

Я смотрю на кольцо. Оно смотрит на меня. Черное. Гладкое. Холодное.

Хочу снять его. Сорвать. Швырнуть ему в лицо. Сказать, что я передумала, что я лучше буду на панели, лучше умру, лучше что угодно, только не это.

Я не снимаю.

Потому что я подписала контракт. Потому что он спокоен и уверен. Потому что я знаю: если я сейчас сорву кольцо, ничего не изменится. Он наденет его снова. Или запрет меня в подвале. Или отдаст Хану, и тот найдет мне другое применение.

Я в ловушке.

И кольцо на пальце — только символ. Ошейник был надет в тот момент, когда я сказала «согласна». Кольцо — просто напоминание.

Он смотрит на меня. Долго. Пристально.

— Вас проводят в вашу комнату, — говорит он. — Отдыхайте. Завтра будет трудный день.

Я встаю. Ноги не слушаются, колени дрожат. Я делаю шаг, второй. К дверям.

Я почти у выхода, когда он говорит:

— Ася.

Я замираю.

— Я не буду причинять вам боль. — Его голос звучит тише, чем прежде. В нем нет стали. Только усталость. — Если вы будете соблюдать условия контракта.

Я не оборачиваюсь. Не отвечаю. Я открываю дверь и выхожу в коридор, где меня уже ждет женщина в строгом костюме — экономка, как я узнаю позже.

— Следуйте за мной, — говорит она.

Я иду. По длинному коридору, мимо картин в тяжелых

рамах, мимо дверей, за которыми угадываются другие комнаты. Пол под ногами — паркет, темный, натертый до блеска. Стены — в бежевых тонах, сдержанные, дорогие.

Мы поднимаемся по лестнице. Второй этаж. Еще один коридор. Экономка открывает дверь в конце.

— Ваша комната, — говорит она. — Если что-то понадобится — есть кнопка вызова у кровати. Ужин подадут через час. Хозяйка обычно ужинает в своей комнате в первый день.

Хозяйка.

Я — хозяйка этого дома. Жена человека, который купил меня.

Экономка уходит. Я захожу в комнату.

Она огромная. Не меньше всей нашей квартиры с отцом. Кровать — широкая, с высоким изголовьем, застеленная белым бельем. Шкафы — встроенные, от пола до потолка. Туалетный столик с большим зеркалом. Ванная комната — отдельно, с огромной ванной на львиных лапах и душевой кабиной, в которой можно разместить человек пять.

Я подхожу к окну. Оно выходит в сад. Темный, осенний, с голыми деревьями и дорожками, усыпанными желтыми листьями. Где-то вдалеке — высокая стена с колючей проволокой.

Клетка.

Смотрю на свое отражение в стекле. Бледная девушка в слишком большом свитере, с черным кольцом на пальце. Чужая. Незнакомая.

Я снимаю кольцо.

Оно поддается легко. Скользит по пальцу, освобождая кожу. Я держу его на ладони, смотрю на него.

Маленькое. Черное. Холодное.

Я могу выбросить его в окно. Могу спустить в унитаз. Могу спрятать в шкаф и никогда больше не надевать.

Я не выбрасываю.

Потому что кольцо — не главное. Главное — контракт, который я подписала. Главное — долг, который висит на мне. Главное — то, что я продала себя, и никакое снятое кольцо этого не отменит.

Кладу кольцо на туалетный столик. Оно лежит на темном дереве, поблескивает тусклым светом. Ждет.

Я иду в ванную. Включаю воду. Смотрю, как пар поднимается к потолку, запотевают зеркала, превращает комнату в туманный мир, где нет четких границ.

Раздеваюсь. Стою перед зеркалом, смотрю на свое тело. Худое, бледное, с выступающими ключицами и ребрами. Тело художницы, которая забывала есть, когда работала. Тело дочери, которая не могла глотать, когда отец умирал. Тело женщины, которая больше не принадлежит себе.

Я залезаю в ванну. Вода горячая, почти обжигающая. Я погружаюсь в нее с головой, задерживаю дыхание, слушаю, как стучит сердце в ушах.

Под водой тихо. Под водой нет звуков. Под водой я могу притвориться, что ничего не случилось. Что папа жив. Что

я вернусь домой, нарисую новый портрет, выпью чай с черничным йогуртом.

Выныриваю. Вода стекает с лица, смешиваясь со слезами. Я плачу. Наконец-то плачу. Рыдания вырываются из груди, сотрясают тело, эхом отражаются от кафельных стен.

Я плачу о папе. О маме. О себе. О доме, в который больше не вернусь. О жизни, которую я потеряла. О будущем, которого не будет.

Я плачу, пока не остается сил. Пока слезы не высыхают. Пока тело не перестает дрожать.

Вылезаю из ванны. Вытираюсь. Надеваю халат — пушистый, белый, явно купленный специально для меня. Выхожу в комнату.

На туалетном столике стоит поднос. Ужин. Суп, салат, горячее, сок. Я не голодна. Я вообще не помню, когда ела в последний раз. Но я сажусь, беру ложку, ем.

Суп вкусный. Горячий. Наваристый. Я ем медленно, механически, не чувствуя вкуса.

Потом смотрю на кольцо.

Оно лежит на столике. Ждет.

Я беру его. Верчу в пальцах. Металл холодный, гладкий. Я надеваю его на палец.

Оно скользит легко. Идеальный размер.

Как будто я никогда его не снимала.

Смотрю на свою руку. Черное кольцо на бледной коже. Метка. Ошейник. Клеймо.

Я ложусь в кровать. Белье пахнет лавандой. Подушки мягкие, одеяло теплое. Я закрываю глаза.

Перед внутренним взором всплывает его лицо. Спокойное. Усталое. С цепкими глазами, которые, кажется, видят меня насквозь.

«Никаких постельных обязательств».

Не верю ему. Не могу верить. Мужчины не покупают женщин для разговоров. Мужчины не тратят миллионы на фиктивные браки.

Но если он лжет — зачем говорить это? Зачем создавать иллюзию безопасности? Зачем давать надежду, которую он все равно отнимет?

Я не понимаю.

Я ничего не понимаю.

Засыпаю. Сон приходит быстро — тяжелый, без сновидений, как обморок. Тело отключается, разум отключается, я проваливаюсь в черноту.

И в этой черноте нет кольца на пальце. Нет контракта. Нет его усталых глаз. Нет ничего.

Только тишина.

Я просыпаюсь от солнечного света.

Он проникает сквозь шторы — тонкие, полупрозрачные, золотистые. За окном утро. Я не знаю, сколько времени. Ча-

сов в комнате нет.

Сажусь на кровати. Смотрю на свои руки. Кольцо на месте. Черное. Холодное.

Вчера не было сном.

Я встаю. Иду к окну. Раздвигаю шторы.

Сад залит солнцем. Желтые листья блестят, как золотые монеты. Где-то поют птицы. Небо чистое, голубое, без единого облачка.

Красиво.

Я ненавижу эту красоту. Она кажется издевательством. Насмешкой. Мир за окном прекрасен, а моя жизнь кончилась.

Отворачиваюсь от окна. Иду в ванную. Умываюсь. Смотрю на себя в зеркало. Лучше, чем вчера. Спал сошел отек, глаза не такие красные. Я выгляжу почти нормально. Почти как человек, а не как тень.

Я одеваюсь. В шкафу меня ждут вещи — много вещей. Джинсы, свитера, платья. Все моего размера. Кто-то позаботился об этом. Он? Или экономка?

Выбираю простые черные джинсы и серый свитер. Свои вещи — мамин свитер, папин халат — остались в рюкзаке. Я не готова их надеть. Они пахнут домом, а дом остался в прошлой жизни.

Я выхожу в коридор.

Особняк кажется еще больше при свете дня. Длинные коридоры, высокие потолки, картины в тяжелых рамах. Я иду

к лестнице, не зная, куда иду. Просто иду.

— Доброе утро, хозяйка.

Я вздрагиваю. Передо мной стоит женщина — та самая экономка. Лет пятидесяти, строгая, с седыми волосами, убранными в пучок.

— Доброе утро, — отвечаю я. Голос звучит хрипло.

— Завтрак подан в столовой. Дамир Михайлович уже уехал по делам, но просил передать, что вернется к обеду.

Киваю. Спускаюсь по лестнице. Столовая — огромная комната с длинным столом из темного дерева. Стол накрыт на одного. Белая скатерть, фарфор, серебро. Завтрак — омлет, тосты, джем, кофе.

Я сажусь. Ем. Механически. Без аппетита.

После завтрака я возвращаюсь в свою комнату. Сажусь у окна. Смотрю на сад.

Думаю о папе. О том, как он сидел на кухне, пил чай из своей любимой кружки, читал новости с планшета. О том, как он улыбался, когда я показывала ему новые картины. О том, как он сказал перед смертью: «Аська, ты сильная. Ты справишься».

Я не сильная.

Но я справлюсь.

Потому что выбора нет.

Я смотрю на кольцо. Черное. Холодное.

И думаю о нем. О человеке с усталыми глазами, который сказал: «Никаких постельных обязательств».

Я не верю ему.

Но, может быть... может быть, я хочу верить.

Потому что если не верить — останется только отчаяние.

А отчаяние убивает быстрее, чем любой рак.

Не хочу умирать.

Я хочу жить.

Даже в этой клетке. Даже с этим кольцом. Даже с ним.

Я встаю. Подхожу к мольберту, который стоит в углу — я не заметила его вчера. На нем — чистый холст. Рядом — краски, кисти, палитра.

Он позаботился и об этом.

Я беру кисть. Смотрю на чистый холст. Я не знаю, что рисовать. Я не рисовала с тех пор, как папа... с тех пор, как все случилось.

Но рука сама выводит первые линии.

Контур. Тень. Лицо.

Я рисую его.

По памяти. По ощущению. Высокий лоб, прямой нос, четко очерченные губы. И глаза. Усталые, но цепкие. Глаза, которые видят меня насквозь.

Я рисую, и время исчезает. Я не слышу, как открывается дверь. Не слышу шагов.

— Неплохо, — раздается голос за спиной.

Я вздрагиваю. Оборачиваюсь.

Он стоит в дверях. В том же костюме, что и вчера, но без пиджака, в одной рубашке. Рукава закатаны до локтя, откры-

вая предплечья — сильные, с четким рисунком мышц.

Он смотрит на портрет. Потом на меня.

— Вы рисовали меня, — говорит он. Не вопрос. Утверждение.

Отступаю от мольберта, заслоняя рисунок собой. Мне стыдно. Стыдно, что он застал меня за этим. Стыдно, что я не могла удержаться.

— Я... просто тренировалась, — бормочу я. — Давно не рисовала.

Он подходит ближе. Я чувствую его запах — дорогой парфюм, табак, что-то древесное. Он смотрит на портрет поверх моего плеча.

— Вы талантливы, — говорит он. В голосе нет лести. Только констатация факта.

Я молчу.

— Вам нужно разрешение на выход в город? — спрашивает он неожиданно. — За материалами. Красками. Холстами.

Поднимаю на него глаза. Он смотрит на меня спокойно, без насмешки.

— Я... да, — говорю я. — Если можно.

— Скажите экономке. Она организует машину и сопровождение.

Он отходит от мольберта. Направляется к двери. У порога останавливается.

— Ася, — говорит он, не оборачиваясь. — Вы не в тюрь-

ме. Вы в моем доме. И если вы будете соблюдать условия контракта, у вас будет все, что нужно. Для рисования. Для жизни. Для всего.

Он уходит.

Я смотрю на портрет. На его лицо, которое я нарисовала по памяти. На глаза, которые я пыталась передать — усталые, но цепкие.

И думаю о том, что он сказал.

«Вы не в тюрьме».

Но если не в тюрьме — то где?

И почему клетка с золотыми прутьями все равно остается клеткой?

Я смотрю на кольцо. Черное. Холодное.

И чувствую, как оно нагревается от тепла моей руки.

Или мне только кажется.

Глава 3

Первые дни в клетке похожи на плавание в густом сиропе. Время течет медленно, тягуче, липнет к коже, проникает в легкие, затрудняет дыхание. Каждая минута растягивается в час, каждый час — в вечность. Я просыпаюсь, и первое, что вижу — черное кольцо на пальце. Первое, что чувствую — холод металла, который уже успел стать привычным.

Я ненавижу это кольцо.

Ненавижу этот дом.

Я ненавижу его.

Но ненависть — слишком живое чувство для мертвой души. А я чувствую себя мертвой. Пустой. Выпотрошенной, как рыба на кухонном столе. Во мне нет ненависти. Нет злости. Нет отчаяния. Есть только тупая, серая пустота, которая заполняет каждую клеточку тела, вытесняя все остальное.

На третий день я решаю исследовать дом. Не потому, что мне интересно. А потому, что сидеть в комнате и смотреть в потолок больше нет сил. Пустота давит. Она становится физической, осязаемой, материальной. Я чувствую ее вес на плечах, на груди, на веках. Если я не начну двигаться, пустота раздавит меня.

Я выхожу в коридор. Пол под ногами — паркет, темный, натертый до зеркального блеска. Я вижу свое отражение — бледное пятно в черном прямоугольнике. Иду медленно, ка-

саясь рукой стены. Обои с легким тиснением, цвета слоновой кости. Дорогие. Я чувствую это даже кончиками пальцев.

Особняк огромен. Я теряю счет комнатам, коридорам, лестницам. Здесь есть все: гостиная с камином, в котором никогда не горит огонь; библиотека с высокими шкафами, заполненными книгами в кожаных переплетах; бильярдная, где стол накрыт зеленым сукном и ждет игроков, которые никогда не приходят; кинозал с мягкими креслами и огромным экраном; спортзал с тренажерами, пахнущими резиной и металлом.

Все это создано для жизни. Для движения. Для шума и смеха.

Но дом молчит.

Он молчит так же, как молчала наша квартира после смерти отца. Только там тишина была пустой, а здесь — давящей. Она наваливается со всех сторон, проникает в уши, затыкает их ватой. Я слышу только собственное дыхание и шаги. И тишину.

Я захожу в гостиную. Сажусь на диван — мягкий, глубокий, обитый бархатом цвета бордо. Диван поглощает меня, как болото. Я тону в нем, смотрю на камин, в котором сложены поленья, но огня нет.

— Хозяйка, кофе?

Я вздрагиваю. Передо мной стоит женщина — экономка. Я уже знаю, что ее зовут Зоя Павловна. Она появляется всегда неожиданно, бесшумно, как тень.

— Да, спасибо, — говорю я. Голос звучит глухо.

Она исчезает так же бесшумно, как появилась. Через минуту возвращается с подносом: кофе в тонкой фарфоровой чашке, молочник, сахарница, маленькое печенье на блюде. Все идеально. Все правильно. Все как в дорогом ресторане.

Я беру чашку. Кофе горячий, ароматный, с легкой горчинкой. Хороший кофе. Я не пила такой кофе никогда в жизни.

Смотрю на Зою Павловну. Она стоит у двери, сложив руки на животе, и смотрит на меня. В ее взгляде я читаю жалость. Тщательно скрываемую, профессиональную, но все же жалость.

— Зоя Павловна, — говорю я. — Сколько человек здесь работает?

— В штате — двенадцать, — отвечает она. — Садовники, водители, охрана, кухня, уборка. Если нужно больше — нанимаем временно.

Двенадцать человек. Для одного дома. Для одного человека. Для меня.

— А он... Дамир Михайлович... он часто бывает дома?

Вопрос вырывается прежде, чем я успеваю его остановить. Зоя Павловна смотрит на меня с легким удивлением — видимо, я первая из «хозяек», кто спрашивает о хозяине.

— Дамир Михайлович много работает, — говорит она осторожно. — Часто задерживается. Ночевать приезжает почти всегда. Иногда поздно.

— Понятно.

Я отворачиваюсь к окну. Зоя Павловна понимает, что разговор окончен, и бесшумно уходит.

Остаюсь одна в огромной гостиной, с чашкой дорогого кофе в руках, и смотрю на сад за окном. Деревья стоят голые, черные ветви тянутся к серому небу, как руки утопающих. Где-то вдалеке — стена. Высокая, серая, с колючей проволокой наверху.

Клетка.

Я допиваю кофе. Ставлю чашку на поднос. Встаю с дивана.

Мне нужно двигаться. Нужно что-то делать. Нужно не дать пустоте победить.

Я иду на кухню.

Кухня в этом доме — отдельная история. Она огромная, как в ресторане. Профессиональные плиты, духовки, огромные холодильники, медные кастрюли, развешанные на крючках. Здесь пахнет травами, специями и чем-то еще — домашним, уютным, живым.

На кухне суетится повар — полный мужчина с добрым лицом и руками, которые двигаются быстро и уверенно. Увидев меня, он замирает.

— Хозяйка, — говорит он с легким поклоном. — Вам что-то нужно? Я могу приготовить...

— Нет, — перебиваю я. — Я... можно я здесь посижу?

Он смотрит на меня с удивлением. Потом — с той же жалостью, что и Зоя Павловна.

— Конечно, — говорит он. — Садитесь вот сюда, я вам чаю налью.

Я сажусь за маленький столик в углу кухни. Повар ставит передо мной чашку чая — крепкого, с бергамотом — и тарелку с домашним печеньем.

— Вы не против, если я буду работать? — спрашивает он. — Мне нужно обед готовить.

— Работайте. Я не буду мешать.

Я смотрю, как он режет овощи, как разделывает мясо, как ловко управляет с ножом. Его руки — руки человека, который любит свое дело. Движения отточенные, уверенные, почти музыкальные.

— Как вас зовут? — спрашиваю я.

— Николай, — отвечает он, не оборачиваясь.

— Николай, а Дамир Михайлович... какой он? Ну, в еде. Что он любит?

Николай замирает. Оборачивается. Смотрит на меня внимательно, оценивающе.

— Просто интересно, — добавляю я. — Раз я теперь здесь живу.

— Дамир Михайлович неприхотлив, — говорит Николай после паузы. — Предпочитает простую пищу. Супы, мясо, овощи. Сложные блюда не жалуется. Говорит, что это понты.

Алкоголь почти не пьет. Может бокал вина за ужином, но редко.

— А дома? Он часто ужинает дома?

— Почти всегда. Если не уезжает по делам.

Я киваю. Задаю следующий вопрос, хотя знаю, что не должна:

— А до меня... у него были... женщины?

Николай отводит взгляд. Кладёт нож. Вытирает руки о фартук.

— Хозяйка, — говорит он мягко. — Я здесь работаю пять лет. За это время ни одна женщина не переступала порог этого дома. Кроме прислуги. Дамир Михайлович... он не из тех, кто водит женщин.

Он замолкает. Потом добавляет тише:

— И не из тех, кто покупает себе жен.

Я смотрю на него. Он смотрит на меня. В его глазах — сочувствие и что-то еще. Предупреждение? Совет?

— Спасибо, Николай, — говорю я.

Он кивает и возвращается к работе.

Пью чай и думаю о том, что он сказал. Ни одной женщины за пять лет. Это не укладывается в голове. Мужчина его возраста, его положения, его внешности — и без женщины? Он что, монах? Или предпочитает мужчин? Или...

Я отгоняю мысли. Мне не должно быть интересно. Мне вообще не должно быть до него дела. Он мой тюремщик. Моя клетка. Мой враг.

Но враг, который не пьет. Не курит в доме. Не водит женщин. Который ест простые супы и овощи. Который работает до ночи.

Какой-то неправильный враг.

Дамир появляется в доме на четвертый день.

Сижу в библиотеке, листаю книгу по искусству — огромный фолиант с репродукциями импрессионистов. Нашла его на нижней полке, случайно. Книга тяжелая, пыльная — видимо, ее давно не открывали.

Я рассматриваю Моне. Его кувшинки, его соборы, его стога сена. Свет. Воздух. Жизнь. Все то, чего нет в этом доме.
— Вы любите импрессионистов?

Я вздрагиваю. Он стоит в дверях библиотеки, прислонившись к косяку. На нем темно-синий костюм, белая рубашка, галстук — сегодня завязан. Выглядит уставшим. Под глазами тени, в уголках губ — складки усталости.

— Да, — говорю я. Закрываю книгу. — Они умели видеть свет.

Он входит в библиотеку. Проходит мимо меня, проводит пальцами по корешкам книг. Я слежу за его руками — длинные пальцы, ухоженные ногти. Руки, которые не держат оружия? Или держат, но не здесь, не при мне.

— Моне любил свет, — говорит он. — А Дега любил тан-

цовщиц. Говорят, он ненавидел женщин, но рисовать их не переставал.

— Дега не ненавидел женщин. Он ненавидел то, что женщины — это товар.

Слова вырываются прежде, чем я успеваю их остановить. Он оборачивается. Смотрит на меня с любопытством.

— Товар? — переспрашивает он.

— В его время женщины были собственностью. Отцов, мужей, братьев. Дега это видел. И рисовал. Не их красоту — их усталость. Их смирение. Их клетку.

Он молчит. Смотрит на меня долго, пристально, как в тот первый раз в кабинете.

— Вы считаете себя в клетке? — спрашивает он.

Я смотрю на него. На его усталые глаза. На дорогой костюм. На руки, которые купили меня.

— А вы как думаете? — отвечаю я.

Он не отвечает. Отворачивается, подходит к окну. Смотрит в сад.

— Завтра у меня ужин с партнерами, — говорит он. — Вы будете присутствовать.

— Я не умею вести светские беседы.

— Научитесь. — Его голос становится жестче. — Это часть контракта.

Я сжимаю пальцы на книге. Белые костяшки.

— Что мне надеть?

— Зоя Павловна подготовит. В вашем шкафу есть подхо-

дящие наряды.

Он поворачивается ко мне. Смотрит на мои руки, сжимающие книгу. Потом — мне в глаза.

— Ася, — говорит он. — Я знаю, что вы меня ненавидите. Это нормально. Но на ужине вы будете улыбаться. Вы будете милой, остроумной, влюбленной женой. Это ваша работа. Справитесь?

Я ненавижу его. Ненавижу за этот тон. За это спокойствие. За то, что он прав — это моя работа. Моя унижительная, мерзкая работа.

— Справлюсь, — говорю я сквозь зубы.

— Хорошо. — Он кивает. — Ужин в восемь. Будьте готовы к семи.

Он уходит. Я остаюсь в библиотеке с Моне в руках, и мне хочется швырнуть тяжелую книгу ему в голову.

Я не швыряю.

Возвращаюсь в свою комнату и иду к шкафу.

Зоя Павловна уже подготовила наряд. На вешалке висит платье — темно-синее, шелковое, с открытыми плечами и длинной юбкой. Рядом — туфли на высоком каблуке, клатч, украшения.

Я смотрю на платье и чувствую тошноту. Это не мое. Я ношу джинсы и свитера. Я рисую в старой футболке, испач-

канной краской. Я не ношу шелк и каблуки.

Но я надеваю.

Платье скользит по телу, как вода. Шелк холодный, гладкий, дорогой. Туфли жмут — я не привыкла к каблукам. В зеркале на меня смотрит чужая женщина. Красивая. Ухоженная. С черным кольцом на пальце.

Жена бандита.

Я спускаюсь в гостиную. Дамир уже там. Он сменил костюм на более темный, почти черный. Галстук завязан идеальным узлом. Волосы уложены. Он смотрит на меня, когда я вхожу, и его взгляд задерживается на секунду дольше, чем нужно.

— Неплохо, — говорит он.

— Спасибо, — отвечаю я сухо.

— Партнеров будет трое. Все — люди серьезные. Вопросы будут задавать. Про наше знакомство, про свадьбу. Легенда у нас есть, Хан ввел вас в курс?

— Да. Мы познакомились на выставке. Вы влюбились в меня с первого взгляда. Свадьба была скромной, только для близких.

— Хорошо. Держитесь естественно. И помните: вы — моя жена. Счастливая жена.

— А если меня спросят, почему нет обручального кольца? Он смотрит на мой палец. На черный ободок.

— Это и есть обручальное кольцо, — говорит он. — Я не люблю бриллианты.

Ложь. Я чувствую это. Но спорить не буду.

Гости приезжают ровно в восемь. Трое мужчин в дорогих костюмах, с тяжелыми взглядами и накрахмаленными улыбками. Их жены — женщины с идеальным макияжем и пустыми глазами.

Я улыбаюсь. Жму руки. Отвечаю на вопросы.

— Как вы познакомились?

— Дамир пришел на мою выставку. Я выставялась в маленькой галерее на Невском. Он долго стоял у одной картины... я подошла спросить, понравилось ли ему. А он сказал: «Я хочу купить не картину. Я хочу купить художницу».

Смех. Женщины умиляются. Мужчины одобрительно хлопают Дамира по плечу.

— Сразу видно, наш человек, — говорит один из них, толстый, с перстнем на мизинце. — Знает, что брать.

Дамир улыбается. Холодно. Вежливо. Я вижу, как напряжены его плечи, как сжаты челюсти.

Ужин длится три часа. Я говорю, улыбаюсь, смеюсь в нужных местах. Я играю роль — счастливую, влюбленную, глуповатую жену богатого человека. Я делаю это хорошо. Лучше, чем ожидала.

Потому что внутри меня — пустота. А пустота умеет быть любой. Она может улыбаться. Может смеяться. Может быть счастливой.

Пустоте все равно.

Когда гости уезжают, я поднимаюсь к себе. Скидываю

туфли — ноги горят огнем. Стягиваю платье — шелк противно липнет к коже.

Я смываю макияж. Смываю улыбку. Смываю роль.

В зеркале — мое лицо. Бледное. Уставшее. С глазами, в которых нет света.

Ложусь в кровать. Закрываю глаза.

Но сон не идет.

Я лежу, смотрю в темноту и думаю о нем. О том, как он сидел за ужином — прямой, собранный, идеальный. Как улыбался партнерам, но глаза оставались холодными. Как сжал челюсть, когда толстый сказал про «нашего человека». Как смотрел на меня, когда я рассказывала нашу легенду — пристально, внимательно, и в его взгляде было что-то, чего я не могу понять.

Он умный. Я вижу это. Умный и опасный. Но не той опасностью, которой пахнут его люди. Другой. Более тонкой. Более страшной.

Потому что умного врага труднее ненавидеть. Умный враг заставляет тебя сомневаться. Умный враг не кричит, не угрожает, не бьет. Он ждет. Наблюдает. Изучает.

Как сейчас.

Знаю, что он не спит. Я слышу шаги в коридоре. Он прошел в свой кабинет. Дверь закрылась.

Я встаю. Накидываю халат. Выхожу в коридор.

Не знаю, зачем. Может быть, хочу пить. Может быть, хочу увидеть его. Может быть, хочу доказать себе, что не боюсь.

Я спускаюсь на первый этаж. В коридоре темно, только тусклый свет ночников. Я иду к кухне, но на полпути слышу голоса.

Кабинет.

Дверь приоткрыта. Сквозь щель пробивается свет. Я слышу голос Дамира — низкий, напряженный.

— ...я сказал, нет. Она не игрушка. Не трогай её.

Пауза. Он слушает собеседника.

— Хан, я не буду это обсуждать. Контракт подписан. Она моя жена. И если кто-то посмеет... — Его голос становится тише, но от этого не мягче. Сталь. Чистая сталь. — Я лично убью любого, кто к ней прикоснется. Ты понял?

Еще одна пауза.

— И запомни. Через год она уйдет. Свободной. С деньгами. Без долгов. Это мое слово. И если ты его не уважаешь... ты знаешь, что будет.

Щелчок. Он бросил трубку.

Я стою в коридоре, прижавшись спиной к стене. Сердце колотится так громко, что, кажется, его слышно во всем доме.

Он защищает меня. От Хана. От кого-то, кто хотел меня тронуть.

Он сказал: «Она не игрушка».

Он сказал: «Через год она уйдет свободной».

Я слышу шаги. Он идет к выходу из кабинета. Я не успеваю уйти. Дверь открывается, и он выходит прямо на меня.

Мы сталкиваемся.

Он смотрит на меня. Я смотрю на него. В его глазах — усталость, злость, и что-то еще. Беспокойство? Страх?

— Подслушиваете, Ася? — спрашивает он. Голос спокойный, но я чувствую напряжение.

— Я шла за водой, — говорю я. — Дверь была открыта.

Он смотрит на меня. Долго. Я чувствую, как он решает — верить или нет.

— Воду можно взять на кухне, — говорит он наконец. — Или вызвать прислугу.

— Я не привыкла вызывать прислугу.

Он усмехается. Первый раз я вижу его усмешку — крикую, горькую.

— Привыкнете, — говорит он. — Здесь все иначе.

Он проходит мимо меня, направляясь к лестнице. Я смотрю ему вслед. Спина прямая, плечи развернуты, но я вижу, как он устал. Как тяжело ему дается этот день. Эта жизнь.

— Дамир, — окликаю я.

Он останавливается. Не оборачивается.

— Спасибо, — говорю я. — За то, что... за то, что сказали Хану.

Он молчит. Секунду. Две.

— Не благодарите, — говорит он наконец. — Это не ради вас. Это ради моего слова. Контракт есть контракт.

Он уходит. Я остаюсь в коридоре, смотрю на закрывшуюся дверь его спальни.

Он лжет. Я знаю это. Если бы дело было только в контракте, он не говорил бы таким тоном. Не угрожал бы убить. Не сказал бы «она не игрушка».

Он защищает меня. Не потому, что должен. Потому что хочет.

Но зачем?

Я возвращаюсь в свою комнату. Ложусь в кровать. Смотрю на кольцо на пальце.

Оно больше не кажется таким холодным.

Я думаю о его глазах. Усталых. Цепких. И о том, как он сказал: «Через год она уйдет свободной».

Он дал мне слово.

И почему-то я верю, что он его сдержит.

Утро начинается с того, что Зоя Павловна будит меня в восемь.

— Хозяйка, Дамир Михайлович ждет вас на завтрак.

Я спускаюсь в столовую. Он уже там. Сидит во главе стола, пьет кофе, читает что-то в планшете. Увидев меня, откладывает планшет.

— Доброе утро, — говорю я. Сажусь напротив.

— Доброе. — Он кивает Зое Павловне, и та ставит передо мной завтрак. Омлет, тосты, джем, кофе.

Я ем молча. Он тоже молчит. Тишина между нами тяже-

лая, давящая.

— Сегодня я хочу проверить ваши навыки, — говорит он неожиданно.

Я поднимаю глаза.

— Навыки?

— Хозяйки. Вы будете вести этот дом. Я должен знать, на что вы способны.

В его голосе нет насмешки. Только деловой подход.

— Что именно вы хотите проверить?

— Сегодня — кухня. Вы приготовите обед. Для меня. Я посмотрю, как вы справляетесь.

Я смотрю на него, не веря своим ушам. Он хочет, чтобы я готовила для него? Как проверочная работа?

— Я умею готовить, — говорю я.

— Посмотрим.

Он встает. Поправляет пиджак.

— К обеду я вернусь. У вас три часа.

Он уходит. Я остаюсь в столовой с недопитым кофе и чувством, что меня проверяют на профпригодность.

Как будто я — соискатель на вакансию жены.

Я иду на кухню. Николай смотрит на меня с удивлением.

— Хозяйка? Вам что-то нужно?

— Я буду готовить обед, — говорю я. — Дамир Михайлович хочет проверить мои навыки.

Николай хмыкает. Я вижу, как в его глазах мелькает что-то — одобрение? Ирония?

— Что будете готовить?

Я оглядываю кухню. Огромный холодильник, забитый продуктами. Свежие овощи, мясо, рыба, специи.

— Суп, — говорю я. — Борщ. И что-то на второе. Котлеты. С пюре.

Николай одобрительно кивает.

— Хороший выбор. Просто. По-домашнему. Дамир Михайлович это ценит.

Я принимаюсь за дело. Чищу свеклу, морковь, лук. Режу, тру, обжариваю. Мясо для бульона кладу в кастрюлю, заливаю водой, ставлю на огонь.

Руки помнят. Мама учила меня готовить, когда я была маленькой. После ее смерти папа взял на себя кухню, но его борщ никогда не получался таким, как у нее. А потом я выросла и начала готовить сама. Для себя. Для папы. Для тех редких гостей, которые заходили к нам.

На кухне я чувствую себя дома. Запах жареного лука, кипящего бульона, свежей зелени — все это возвращает меня в ту жизнь, где я была просто Асей. Девушкой, которая рисует и готовит борщ по маминому рецепту.

Николай наблюдает за мной молча. Иногда подает нужную посуду, достает специи. Не мешает. Не советует.

Через два часа все готово. Борщ — наваристый, ярко-красный, с чесноком и зеленью. Котлеты — румяные, сочные. Пюре — воздушное, с маслом и молоком.

Я накрываю стол в столовой. Белая скатерть, фарфор, се-

ребро. Хлеб в плетеной корзине. Масло в масленке.

Вхожу Дамир. Он смотрит на стол, на тарелки, на меня.

— Садитесь, — говорю я. — Обед подан.

Он садится. Я наливаю ему борщ. Он пробует. Молчит.

Я стою рядом, сжимая половник. Жду приговора.

— Садитесь, — говорит он. — Ешьте со мной.

Я сажусь напротив. Наливаю себе борщ. Пробую. Неплохо. Не так, как у мамы, но близко.

— Хорошо, — говорит он. — Очень хорошо.

Поднимаю глаза. Он смотрит на меня, и в его взгляде нет обычной холодности. Что-то другое. Что-то, от чего у меня перехватывает дыхание.

— Спасибо, — говорю я.

Мы едим молча. Но тишина уже не давит. Она другая — спокойная, почти уютная.

Когда мы заканчиваем, он отодвигает тарелку.

— Завтра — сервировка, — говорит он. — У нас будет обед на шесть персон. Вы составите меню, накроете стол, встретите гостей.

— Я справлюсь, — говорю я.

— Я знаю, — отвечает он.

Он встает. Идет к выходу. У двери останавливается.

— Ася, — говорит он. — Спасибо. Я давно не ел домашней еды.

Он уходит. Я остаюсь в столовой, смотрю на его пустую тарелку, на остатки борща, на скатерть, которую я накрыла

своими руками.

И думаю о том, что сказал Николай. «Ни одна женщина не переступала порог этого дома».

Он живет один. В огромном доме. С прислугой. С охраной. С деньгами.

И он голоден. Не только по еде. По дому. По теплу. По чему-то, чего у него никогда не было.

Я смотрю на кольцо на пальце. Оно уже не холодное.

Оно греется.

И мне кажется, что ошейник на моей руке — не только мой.

Может быть, он тоже в клетке.

Только его клетка — это этот дом, его имя, его прошлое, его долг перед кем-то или чем-то.

Я не знаю.

Но мне хочется узнать.

И это желание страшнее любого страха.

Глава 4

— Улыбайся.

Я смотрю на себя в зеркало заднего вида. Джип мягко катит по вечернему городу, огни витрин и фонарей стекают по стеклу, как разноцветные капли. Мои губы послушно растягиваются в улыбку — вежливую, нейтральную, ничего не значащую.

— Не так, — говорит Дамир с переднего сиденья. Он сидит справа от водителя, я — сзади, как пассажирка, которую везут на казнь. — Ты улыбаешься как на фото в паспорт. Натянута. Фальшиво.

Я ловлю в зеркале его взгляд. Он смотрит на меня холодно, оценивающе, как на экспонат, который нужно подготовить к выставке. Или как на скаковую лошадь перед заездом.

— Покажи, как улыбается влюбленная женщина, — бросает он.

У меня внутри все закипает. Я не влюбленная женщина. Я — заложница, которую везут на ужин к бандитам, чтобы я играла роль счастливой жены. А он сидит там, в своем идеальном костюме, с идеальной прической, и учит меня улыбаться.

— Может быть, ты покажешь, как улыбается влюбленный мужчина? — выпаливаю я.

Тишина. Водитель, кажется, перестает дышать. Я смотрю

в зеркало и вижу, как глаза Дамира сужаются. На секунду мне кажется, что сейчас он прикажет остановить машину и вышвырнет меня на обочину.

Но вместо этого он... улыбается.

Я видела его улыбку раньше — холодную, дежурную, для партнеров. Сейчас все иначе. Уголки его губ поднимаются медленно, словно он сам не уверен, что хочет этого. В глазах мелькает что-то живое — не смех, нет, скорее удивление. Удивление тому, что я посмела ответить.

— Неплохо, — говорит он. — Злость тебе идет. Но сегодня нужна не злость. Сегодня нужна нежность. Сможешь?

Я отвожу взгляд. Смотрю в окно, на огни, которые проплывают мимо, на людей, которые идут по своим делам, не зная, что где-то в черном джипе едет девушка, которую учат быть нежной. Принудительно. По контракту.

— Смогу, — говорю я тихо.

— Держись за руку, — продолжает он. — Не выпускай ее весь вечер. Если я чувствую, что ты напряжена — сжимаю пальцы. Это сигнал: улыбнись шире или скажи что-то милое. Если я глажу большим пальцем — значит, ситуация под контролем, расслабься. Поняла?

— Поняла.

— Не выходи из образа. Ты — моя жена. Молодая, красивая, безумно влюбленная. Никаких умных разговоров, никаких споров, никаких острых тем. Ты — глупенькая девочка, которая счастлива, что ей достался такой мужчина.

Каждое слово вонзается в меня, как игла. Глупенькая девочка. Счастливая. Безумно влюбленная. Я должна играть роль, которую он написал. Должна стать марионеткой на его ниточках.

— А если меня спросят о чем-то, чего нет в легенде? — спрашиваю я.

— Импровизируй. — Он смотрит на меня в зеркало. — Ты умная девушка. Справишься.

Умная девушка. Это уже лучше, чем глупенькая девочка. Но ненамного.

Машина сворачивает с шоссе, въезжает в лес. Дорога становится уже, фонари исчезают, нас окружает темнота. Я чувствую, как сердце начинает биться быстрее. Куда мы едем? В какую глушь? Что за человек, который живет в лесу и требует, чтобы его партнер привозил жену на ужин?

— Не бойся, — говорит Дамир. В его голосе нет тепла, но есть что-то, похожее на уверенность. — Ты со мной. С тобой ничего не случится.

Я хочу сказать, что именно с ним со мной и случилось самое страшное. Но молчу. Потому что это неправда. Самое страшное случилось со мной в тот момент, когда умер папа. Все остальное — только последствия.

Мы въезжаем в ворота. Огромные, кованые, с какими-то чудовищами по бокам. Дом, который открывается за ними, похож на замок — трехэтажный, с башнями, с подсветкой, которая выхватывает из темноты лепнину и колонны. Парк

перед домом ухоженный, с подстриженными кустами и фонтаном, который не работает в это время года.

— Кто здесь живет? — спрашиваю я.

— Борис Аркадьевич. Мой... партнер.

В паузе перед словом «партнер» я слышу то, что он не говорит. Не друг. Не союзник. Конкурент. Враг, с которым нужно ужинать, потому что бизнес требует.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.